



ОТ АВТОРА

Говорят, что писать о событиях по горячим следам не стоит. Особенно если это такие события, как война. Но, в оправдание автора, нужно заметить, что в первых своих рассказах он старался уйти от привычного читателю образа, хотел обогнуть «свою» войну по окружной дороге или найти в ней оазисы тишины. Вспоминать, «как оно было», автор не мог — не получалось. Перо китайской ручки, купленной в дукане, начинало фальшивить и просто врать — художественный вымысел никак не хотел срастаться с реальностью. И тогда он решил укрыть свою войну маскировочной сетью поэзии. Так родились первые рассказы, в которых автор попытался показать то, что хотел, не указывая при этом пальцем. Насколько это получилось — судить читателю. Но сейчас автор все же предварил эти рассказы указателями — чтобы читатель знал, что послужило толчком к их появлению.

Война, как и все большое, видится на расстоянии. Двадцать лет — расстояние достаточное, чтобы разглядеть. Чтобы вспомнить то, что, казалось, навсегда кануло в недосыгаемые глубины памяти, — и понять: это нужно воскресить. На этот раз безо всякой поэзии, без художественного вымысла, но и без того ужаса, который в ассоциативном ряду любого

нормального человека прочно связан со словом «война». Вспомнить те моменты, которые составляют каркас ностальгии...

— Ну-ну, — скажет бескомпромиссный читатель, — договаривай! Ностальгии по?..

Да, мой читатель, ты правильно понял — по войне.

По молодости. По настоящим друзьям. По надежде на жизнь. И даже по страху.

Так появился этот документальный цикл. Прочитав его, кое-кто может сказать: «Легко тебе служилось — не война, а курорт». Но учти, мой доброжелательный критик: это не вся моя война. Это — мое «Избранное». А впрочем, может, ты и прав — спустя двадцать лет мне начинает казаться, что все было именно так, как написано, — легко...



ПЕРЕД СНЕГОМ

*Попытка описать ночь перед событием,
от которого зависел его путь на войну.
Что было дальше —
читайте в истории «Первый прыжок».*

Здесь, видимо, нужно описать обстановку. Сейчас, ошеломленный известием, я вряд ли смогу сосредоточиться, поэтому стоит пригласить стороннего и странного наблюдателя. Он отметит, что из окна тянет холодом, что комната четырехугольна и бедна декорациями; что стол, стул и кровать — все казенное, а из личного — две книги на столе (названия уже стерты сумерками), стопка чистой бумаги и один полуисписанный листок (тема неясна и к тому же оборвана на полуслове). Есть еще настольная лампа, которая сейчас спит. В наступающей темноте пока живет окно, и, подойдя к нему, можно видеть: на дворе — октябрь. Магическое слово... Произнесешь его, и кто-то очень прошлый навязывает мне свой голос. Отвязаться трудно... Позвольте наблюдателю присесть и, не включая света (я вижу в темноте получше кошки), всем услужить. Себе — освобождением от чар, тому, кто звал, — эпиграфом к рассказу, его цензуре — классики куском (почти что с кровью). Что ж — начну как есть...

Октябрь уж наступил. Здоровью моему полезен русский холод. Весной я болен: кровь бежит быст-

рей, теснятся чувства, взгляд плющом бесстыжим опутывает ножки... Впрочем, стоп! Решат, что я про стул в оранжерее... Вернемся к октябрю. Повтора не стыдись, у предка позаимствуем побольше. И стук копыт по мерзлой целине, и зябкость голых веток, и деревню; и дым печей, и ржанье кобылицы, что отвечает моему коню; и сумерки, когда я возвращаюсь... Прими-ка, братец... Твой хозяин счастлив. Зажгите камелек. Оставьте мне: стаканчик пунша, плед, свечей трезубец, — и небольшой сквозняк, чтоб тени жили... Перо с бумагой? Вроде ни к чему... Хотя — несите. Вдруг в истоме теплой шальная мысль плеснет (и жалко упускать, и длить нельзя — тогда покой насмарку), — ее я подсеку. И снова тишь. Корабль стоит, и нет нужды матросам кидаться и ползти. Пусть отдыхают. Пусть... (Стук в дверь.) Проклятье! Кто там? Мне — письмо? Так поздно? Подайте же... Духами и не пахнет, — но почерк гневный: «Сударь, Вы посмели... моя жена... назойливость, с которой... охотник до чужого... сплетни света...» Все ясно. Глупость, но автограф ценный. Как жаль, что не в стихах, — ведь он поэт (и популярнейший в веках окрестных). К поэтам, правда, я достаточно суров. Привыкли на коньках по льду бумаги, а ты попробуй шагом так же вольно! Телеграфист... Но неужели, боже, одни лишь дураки дают приплод? Неужто вздох (когда целуешь в ушко) чужой жены, — он стоит чьей-то жизни? Его или моей... Так что же делать? Стрелять в межрожие иль небо продырявить? (Что, право, так несправедливо к небу!) Нет, коли он дурак, — пожалуй, застрелю. Мочите ягоды... Хотя — постойте... А если — он меня? Я как-то не подумал... И кстати: не затем ли объехал я владения свои, чтоб попрощаться? Ворон все кружил... И воробей мне из ворот навстречу... Вот так задача — мучиться всю

ночь: кому из нас?.. Достаточно. Теперь, устроившись удобнее во мраке, послушаю, что думает двойник. Он думает, что скоро ляжет снег, что осени осталось жить неделю, что хорошо бы снег пошел сейчас...

...Чтобы валил. Пусть буран закроет перевалы и бушует неделю, — тогда отменят, перенесут, забудут. Даже не хочу уточнять, что назначено на завтра, — через это проходит не так мало людей, как кажется, и вероятность погибнуть намного меньше, чем на той же дуэли. Но недавно случайно выяснилось, что одеяло, которым я укрываюсь, волею равнодушного служителя перешло ко мне от такого вот погибшего. И эта комната, и это зеркало — они тоже были его. Страшно ли мне? Если поймать за мышиный хвост эту мелькающую по краю сознания мысль, то уточню: мне не страшно, мне — подозрительно. Неужто мои путанные перемещения, так и не выстроившиеся в прямую, решено свернуть? И это теперь, когда я только-только раскрутил пращу и медлил, прицеливаясь. Мне кажется, я хотел начать именно в этот вечер, и у меня даже был искренний замысел об оконном стекле, о желто-красной осенней акварели, о серых лужах и мокрых ботинках, о великой депрессии большого города. Здесь, вдали от моих больших городов, на окраине континента, на его холодной, но красивой оконечности, в маленьком, как родинка, поселке, — здесь это должно было получиться особенно правдиво. Тем более выполнено главное условие — вот этот покой осени, когда кажется, все люди и людишки, напившись вечернего чая, взбивают подушки, — и никто не обгонит пустившегося в путь, потому что никто не бежит. Самое время, наострив перо и глядя в опустевшие дали, — начать... Вот здесь-то и ворвалась безжалостная, как римский сол-

дат, судьба и, гогоча, замахнулась неразборчивым мечом. Завтра, тяжелый, как пуля, я узнаю запах сырых облаков, и беззвучный крик будет полоскать мои щеки. Положенные в таких случаях царства не обещаны. Только ночь снисходительно брошена мне, как последняя сигарета. Что я успею, суетливо суетясь? Все, что укладывалось в одну ночь великого, — все уже уложено до меня. Мой же багаж в такое короткое время не упаковать, — услышав, как рассвет идет, гремя ключами, вспотевший идиот плюнет в сердцах: нужно было просто дышать...

Я могу отказаться... Попробуем эту мысль на вкус: я могу... Идея сладка и тягуча, ее можно смаковать всю ночь. Значит — отказаться? Официального осуждения не последует, — только те, с кем начинал, пожмут плечами. Но разве я должен объяснять им, что я прибыл сюда с ними и вместе с тем отдельно от них; что хотел взять здесь уроки вертикального роста, — я, оторванный и круглый, привязанный лишь к собственному центру, хотел узнать, как появляются корни, как они всасывают жизнь, хотел научиться гнать ее вверх и превращать в шум и шелест, очаровывающий тех, кто, оказавшись в моей тени, поднимет голову...

Итак, что ждет меня, лишенного чуждых мне перспектив? Я останусь один, и все будет, как было, — но теперь уже я не сомну этот лист, как предыдущий. Тот же завалившийся за подкладку пространства и времени поселок, так удручавший меня после большого города, тот же неразговорчивый и мудрый лес, та же официантка в той же столовой — теперь я рассмотрю все по-настоящему. Для начала, не торопясь, оближу этот отлитый из вермута леденец местной осени, соглашаясь наконец с иноземцем, который, спустившись с трапа, вздохнет: «Ка-

кой запах!» О, этот реликтовый букет, давно вымерший (или никогда не живший) на западе и юге, — жаль, что его нельзя расчленить на простые составляющие, — на запахи хвои, черемухи, порожистой речки и (предположим) дымка горящей на далеких огородах ботвы. Я буду вдыхать этот запах до самого снега, бродя по дощатым тротуарам, которые все ведут в центральный парк — наивную, словно исполненную детской рукой и оттого более трогательную копию могучих городских парков. Несколько деревьев, летняя эстрада с тремя лавочками, сломанные качели и алебастровый лебедь с отбитым крылом, — я буду курить здесь, осыпаясь листьями, вспоминая о том, чего со мной никогда не было; я даже выпью портвейна, предложенного беспечным незнакомцем, и поговорю с ним на его заковыристом языке. Я буду пережидать туманные дожди в маленьком книжном магазине, глядя то в книгу, то на оконный струящийся размыв, — и уходить, не дождавшись окончания, чтобы вернуться домой промокшим и, переодевшись в сухое, пить горячий чай с брусничным вареньем, — пока не придет зима.

А когда она придет, пахнувшая морозными свеженапиленными досками и печным дымком, от которого схватывает дыхание, я снова, как шар, направленный в лузу точной рукой, закачусь не в свою простывшую комнату, а в тот деревянный дом на окраине, где топится печка, в комнате греется широкая кровать, и молчаливая хозяйка, улыбаясь, накрывает на стол, вздрагивая, когда слишком близко у окна проскрипят чьи-то валенки. В первый раз, уходя рано утром на цыпочках с ботинками в руках, я вообще не думал, что вернусь сюда, — тем более неожиданно встретив взгляд вышедшей из соседней комнаты бледной, голенастой, в короткой ночной

рубашке и все понимающей ее дочери. Но теперь, куря на корточках у малиновой печной дверцы и глядя, как дым голубой струей утекает в поддувало (печка не кашляет, приученная к папиросам моих предшественников, и мне это вовсе не противно), — теперь я думаю, что мне совсем не хочется возвращаться к своему столу, заснеженному чистой бумагой, — а снег с каждым днем все глубже, и все труднее думать, как я, отяжелевший, начну путь, проваливаясь по колено, по пояс, по грудь и оставляя не изящную птичью клинопись, но медвежий развал. Хочется мне, разморенному теплом, остаться здесь на вечное поселение, быть учителем в местной школе, а вьюжными вечерами помогать дочери делать уроки, подшивать прохудившиеся валенки, курить у печки, в которой сгорают наколотые мною дрова, — и думать о лете, о том, как буду искать в окрестной тайге большой черный камень (не надрывать же нежной женщине с доставкой), который по истечении полувека и увенчает мое существование здесь...

Но в разгар зимы вдруг случится странный сбой. Вынужденно прервав свои никому не слышные гаммы, я всего на день покину свое теплое снежное логово и перелечу немного южнее, ближе к большой реке, другой берег которой уже не мой, — он узкоглаз, улыбчив, и ему нельзя доверять. Здесь нет тайги, здесь мелколесье и степь, — ветра выдувают снег, и февральские дороги дымятся холодной пылью, а рыжая высокая, по грудь, трава сухо шуршит, — и, пробираясь в сумерках по мерзлым кочкам среди ломких стеблей и осыпающихся метелок, растирая пальцами и нюхая желтую пыль давно погибшей осени, я снимаю жаркую меховую куртку, глотаю поднимающийся к ночи ветер, и хочется кричать от тоскливой радости зимнего зверя, вернувшегося на

забытую родину и никого из прежних не нашедшего, кроме их смятых и уже заиндедеввших лежбищ в этой траве... А рядом темными силуэтами через поле к теплу движутся те, кто вместе со мной завершил этот день, — они подсвечивают фонариками небо, они переговариваются и смеются, и я, такой же темный и равный в этой темноте, отвечаю им и смеюсь, не выдавая своей отдельности, своей уже понятной мне тревоги. Так ничего и не исполнивший из обещанного, ничего не отработавший, — но потерявший право на общие воспоминания с теми, кто уже совсем в других краях, теперь я знаю, что вернусь в снега только затем, чтобы, дождавшись весны, выйти ранним утром из дома, вдохнуть полной грудью запах талых помоек и, завернув за три угла времени, снова оказаться в моей осенней комнате. Здесь уже посветлело окно, и кто-то спит за столом, грея щекой исписанный лист. Вставай, наблюдатель, — нам пора...

НА ОХОТЕ

Этот рассказ — начало истории «Парадоксы войны» из «Бортжурнала» и пример недосказанности «Избранного».

...Им было все равно, кого искать. Летели на восток, все дальше углубляясь в дикую, неприрученную зону чужой страны. Рыскали над бесхитростными речными долинами, ныряли в тесные, до краев налитые тенью ущелья и, выпадая в пустыню, неслись, припав к земле и пугая пулеметными очередями летящие мимо мертвые кишлаки. Поднималось алычовое солнце, пели винты, — а в грузовой кабине тошнило навьюченный оружием досмотро-

вый взвод. Сейчас, ради передышки на твердой, надежной земле, этот натасканный на караваны зверь был готов обнюхать даже одинокого путника — и уже скребся в дверь, что-то почуяв...

Путников было трое. Они стояли на берегу иссыхающей речки и ждали, привычно подняв руки. Стрелок снял пулемет с упора, повернул его рыло к людям — на тот невероятный случай, если они захотят пожертвовать собой. Снижались, надменно задрав нос, осторожно, как дама в воду, ступили на песок. Сосредоточенно совершая подскоки и перемещения в поисках плотной почвы, фаршированный солдатами дракон просто скрывал смущение, стыдясь своей мелочности. Наконец утвердились. Дверь отъехала, и на землю попрыгали несколько солдат. Постояли, жмурясь на солнце, и двинулись. Шли, не снимая с плеч автоматы; зевая, поглядывали по сторонам, попинывали песок, переговаривались — ленивые грибники, которым совсем нет дела до тех троих. Уже потом, через секунду, сочиняя причины, стрелок приписал утерянному клочку времени этот звук, придумал хлопок, приглушенный винтами. Солдаты от неожиданности остановились и смотрели...

Человек убежал к холмам. Он бежал, запрокинув голову и широко выбрасывая ноги, а его спутники лежали, закрыв головы руками. Опомнившись, солдаты стронулись с места и тяжело пустились в погоню, — буксуя в песке, суетливо сдергивая с плеч автоматы, стреляя, — кто от плеча, кто от пояса. Но, несмотря на треск за спиной, человек бежал, быстро сокращая расстояние до спасительных холмов. Смешно думать об их спасительности, думал стрелок, ведя перекрестье прицела за бегущим и натываясь на вислые зады егерей, — смешно так думать, когда вверху, накрывая беглеца долгой тенью, про-

носятся ведомый... Обескураженные солдаты уже меняли пустые магазины, махали кружащему над ними вертолету, призывая помочь, но, отрицательно качнув пилонами, он снова уходил на круг. А человек бежал, чудом выбирая в кипящем пространстве свободные от смерти места. Наверное, этот восточный маг неуязвим, он просто забавляется, и от его непресекающегося бега солдаты теряют уверенность в убойной силе своего оружия, в свинцовости своих пуль. Нельзя же заподозрить сразу всех, выполняющих расстрел, в намеренном косоглазии... Вот приговоренный остановился, оглянулся и, размахнувшись, швырнул что-то в сторону преследователей. Споткнувшись о страх, солдаты повалились на песок, неловкие, сдавленные бронежилетами, подминая собственные автоматы. Человек нырнул в нагромождение больших валунов, запетлял, отталкиваясь от каменных боков. Не дождавшись взрыва, солдаты поднимались и снова бежали, забыв до конца разогнуться, стреляя из-под живота. В камнях зазмеился малиновый рикошет трассеров, огненный серпантин оплетал ноги бегущего. Ему оставалось совсем чуть-чуть, чтобы исчезнуть за камнями, когда стрелок вдруг ощутил всю ярость неуклюжих, обманутых солдат, увидел, как один из них припал на колено, старательно прицелился, скаля зубы, и его плечо задергалось от коротких и злых, как удары ножа, очередей...

— Командир, — сказал стрелок, — топливо на исходе...

— Блин, — сказал командир, жуя сигарету. — Надо сказать им, пусть прекращают. Уроды...

Он высунулся в блистер и замахал стоящему недалеко бойцу.

Но, чиркнув винтами по солнцу, пролетел vedo-

мый, сказал: «Они его кончили. Камнями кидался, дурак».

Волоча автоматы за ремни, солдаты возвращались. Багровый командир, высунувшись из кабины по пояс, орал на взводного, угрожая пистолетом. Привели двоих, затравленно озиравшихся и никому не нужных. Облокотившись на пулемет и посасывая погасшую сигарету, стрелок изучал их через стекло. Кажется, они уже встречались ему где-то в прошлой, музейной жизни — старик с длинными голубыми зубами и мальчик в широкой, грязно-лиловой, как зимний закат, рубаше: чумазая мордочка, большие, изюм в шоколаде, глаза. Вопрос изучившему местные нравы: кто он? Внук пустынного отшельника или приголубленная им сиротка, теплый персик, греющий барханными ночами холодеющие чресла старика? Тогда кем был тот, бежавший?..

Взлетели, оставив на качнувшейся земле двоих с поднятыми руками, и быстро ушли. Торопясь, чуть не опрокинулись, поскользнувшись на ветре, и казалось, что из задних створок уходящей машины что-то валилось и лилось...

Продолжая: кем он был и зачем бежал? Никаких зацепок для следствия. Вся миллиардолетняя цепь причин сейчас не рассматривается, — только ее хвостик, оторвавшийся и оставшийся в камнях. Не поймите меня превратно — я не грущу об убиенном. Ночью, как обычно, придет время подумать о нем, разобраться в психологии пули, в ее скачке из металла и пламени в живое (она даже не успевает озябнуть в полете), в ее чудесном преображении — из свинцовой болванки в новый, смертельно важный орган, горячий, воспаленный аппендикс, остывающий медленнее тела; подумать о тупиковости той эволюционной веточки, которую намеренно срезал великий садовник, — и, покрываясь потом, ощутить

этот удар меж лопаток, этот лом в спицах твоего дыхания, увидеть кувыркание мира вокруг тебя и услышать издалека собственный вскрик...

Вряд ли этот номер пройдет сегодня. Стрелок не видел его с тех пор, как он канул в камнях, завершив свой гордый бег олимпийского героя; с тех пор, как рукоплескал этому ахиллесу и освистывал его погоню — низкорослую, чирястую, в засаленных, обвисших галифе и рваных бронежилетах. Это полудохлое животное, ползущее по резвым следам, оскорбило основную идею нашего прайда, где легкий и могучий бег всегда был основой. Мы ведь еще не устали, нам еще не снятся бесконечные дожди, и запах остывающих стволов по-прежнему слаще унылых запахов прошлого. Веселые и загорелые, самая дорогая мечта слезливого теоретика, влюбленного в нас еще до нас, черные ангелы в искрах и копоты, — мы носились над этой соленой землей, уча своей хулиганской мудрости грызущих саранчу мудрецов; уставая от пыльной жары, поднимались к белым, холодным облакам, чтобы искупаться в их пьянящем озоне; падая с высот, похищали пасущихся сабинянок, прививая им свою свежую кровь, — а книги, что захватили с собой, чтобы не одичать, — где они, эти книги?..

Что же теперь скрасит угрюмое возвращение обознавшихся? Отвечайте, тупо ковыряющие толстыми пальцами в коротких носсах. Нет ответа, и грязь в моем благородном салоне... Тогда что-нибудь красивое и быстрое, пожалуйста. Этот чардаш посвящается убегающим, — хвала и реквием. Есть острый обсидиановый нож, и уже видна жертва, призрачная спутница для ушедшего фараона речной долины — и такая быстрая и прыгучая, рожденная для бегства — совсем не женщина, чей игривый визг и трясущийся студень убивает азарт, — совсем другая...

Стрелок издали заметил ее и успел заменить ко-

роткую ленту на длинную. Вот она снова исчезла, и снова ревущий вираж вывел чудовище на беглянку. Неведомо как удерживаясь на повисающей земле, тонконогая грация застыла и, повернув гордую головку на длинной шее, смотрела, как летающий циклоп разворачивается к ней блистающим фасетками глазом. И когда, качнувшись, он устремился на нее, газель скакнула в сторону и понеслась, разматывая за собой пыльную завесу. Пулемет встрепнулся и выплюнул первую порцию огня. Очередь вспорола пыль перед бегущей, она шарахнулась, и вертолет проскочил над дымящейся пустотой. Зашли с другой стороны. Теперь ветер сносил пыль, и желтое, с белым промельком живота, тельце летело прямо на пулемет. Стрелок нажал на гашетки, исполнивал очередями место, где она только что была, — а она, снова скрытая пылью, уже уходила... Опять перестановка фигур: игнорируя вес и парусность, обжигающим креном (в салоне свалка из касок, ругани и пулеметов) брюхастая машина заходит в хвост газели, неумоимо чертящей на пергаменте пустыни ломаные узоры. Пулемет вышивает пьяными стежками вдоль ее летящей канвы, бьет огненными когтями — мимо, мимо! Легкий, не смазанный страхом обскок огненных вешек, мельканье ее невероятно изогнутого тела над разверзающимися пропастями, — и опять пустота, и снова хвостатый бросок пятнистого зверя. Я все равно догоню тебя, моя пустынная нимфа, — я чувствую твой стремительный путь, я уже слился с ним, и мысль моя опережает его, — я просто оттягиваю тот сладкий миг, когда в длинном прыжке собью тебя своей тяжелой, нежной лапой, подомну под себя и сомкну челюсти на твоем тонком загривке...

...Зеленой жабой спрыгнул с неба вертолет. Стрелок вышел за добычей сам, оттолкнув кинувшегося

было солдата. Нужно идти медленно, чтобы, когда подошел, рядом уже не было ее укоризненной души... Ему оставалось совсем немного, когда, отчаянно мотая головой, животное поднялось и, враскачку, припадая на все ножки, поскакало к далеким кустам. Стрелок страдальчески сморщился: она убежала, как истерзанная, не понимающая, что с ней сотворили, девочка! Он присел, выдергивая из кобуры пистолет, и прицелился. Он мог бы в два прыжка догнать ее и добить в упор, всадить пулю в ее хрупкий затылок, — но вдруг бы не получилось увернуться от этого жалобного взгляда, от совсем не человеческих глаз, память о которых — мечта не умеющего рыдать актера... Он выстрелил, почти зажмурившись. Ее передние ноги подломились, она ткнулась щекой в песок, постояла так, судорожно вздрагивая, еще пытаясь выдернуть из-под себя ноги, думая, что сейчас все пройдет, что не бывает так долго тяжело и больно... Она упала. Он подошел, пряча пистолет. Долго стоял, присматриваясь к ее недвижному боку, в который раз удивляясь ее малости (а с воздуха была величиной с лошадь), потом наклонился и поднял рыжее тельце за теплые ножки...

КОГДА ВСТАЕТ СОЛНЦЕ

Сначала рассказ носил название «Цветок стапелии». Запах этого цветка, так любимый мухами и их повелителем, стал поводом к воспоминанию.

Они возвращаются. Неважно откуда и что там было. Память тела несовершенна и фрагментарна, почерк сна дрожащ и невнятен. В закорючках угадывается: ночь, мертвый свет осветительных бомб, быстрое снижение, сверкающий выстрелами мрак,

загрузка падали (душный запах теплой крови, вздохи трупов и стиснутое молчание раненых), взлет и набор высоты... Дальше — небо укрывает беглецов. Постепенно выползает из обморока душа, — она сохранилась, и уже можно посмеяться над доктором, который просит зажечь в салоне белый свет. Ах, он не может попасть в вену! А Штрауса вам не включить? Держите фонарик и закройте дверь. Кто еще терпит, пусть терпит; уже скоро, — мы возвращаемся.

Они возвращаются. Машины несут их домой. Они летят над черной пустотой земли, под мерцающим брюхом Вселенной, летят к своей невидимой еще звезде, которая в приближении распадается на огни посадочной полосы. Ровно гудят двигатели, поддерживая ровный полет, успокаивающе горят зеленые табло топливных насосов, питающих могучие организмы, спят ненужные на такой высоте пулеметы. Наклонив головы, машины идут через ночь, неся в утробах застывшие экипажи. Теперь можно закурить, можно расслабиться, наконец, в красном полумраке кабины, глядя в ночь, как в огонь, — бессмысленно и спокойно. Торопиться некуда, — ночью на этой высоте нет времени. Здесь только постоянный ветер, — он упирается в лбы машин мягкими лапами, приглашая гостей задержаться. Время же, остывая, сгущается на земле, — и не хочется завидовать спящим внизу: ведь как удивительно будет, вернувшись под утро, встретить на знакомой стоянке ржавые, изъеденные песком прошедших столетий скелеты машин, и как ностальгически сладок будет дым случайно найденного окурка, ровесника всей династии Саманидов. И стоит ли тогда возвращаться? Я бы летел так вечность...

Я бы летел, я бы плыл так, неторопливо беседуя со своим сумеречным близнецом, обитающим в глу-

бинах ночи. Вот он по ту сторону тлеющих углей подсветки, за черным лобовым стеклом, — он знает больше, чем я, он знает все, — и я бы слушал его. Расскажи мне о вечном: о твоих ночных подругах и ваших пикниках на вершинах, о полетах стаями, играх с орлами и охоте на горных козлов. Возможно, тебе скучно со мной, мелко живущим, и ты просто заскочил повидаться, — но у нас нет даже телефона, чтобы поговорить через всегдашнее стекло, и мне никогда не услышать вести с этой темной воли... Тогда не стоит терять времени. Видишь, — в лунном свете надвигается пепельный астероид перевала, — загруженные, утомленные машины пройдут совсем низко над гребнем, сдувая в пропасть спящие камни, — здесь ты можешь соскочить. Твои друзья ждут тебя, — они жарят козлятину, и я чувствую ее запах, вижу, как взвиваются и гаснут среди звезд искры невидимого костра, — они поднимаются навстречу в беспорядочно-веселой пляске, и хочется подставить им доверчивую ладонь...

Я бы плыл, я бы спал так, — но за стенкой уже кто-то забегал, заорал, хлопая дверьми: проснись, придурок! Рев сирены, красные пунктиры вместо искр, — поднимая свалившееся сознание, напяливая швами наружу, выглядываем, таращась: трассы льются с двух сторон. Они подстерегли нас, таких медленных и низких! — и теперь пулеметы бьют не только на звук (это были бы всего лишь жмурки с отставшим голосом), — к их услугам еще и Виев глаз луны. Железная дичь, насаженная на вертел ветра — почему мы стоим?! Днем эти секунды по-своему радостны, — они заняты огненной работой: заход на боевой и уничтожение. Сейчас же, шаря слепыми руками и огрызаясь бестолковым огнем (испуганный скусн-вонючка, — дайте ему по башке палкой, что-

бы не вонял!), — мы убегаем... Раскладываем в ряд: сучащие, буксующие ноги, — толкайте же, толкайте, прячьтесь, закрывая глаза и останавливая мысли, растворите все растворимое, уменьшаясь и заворачиваясь в носовой платок, исчезая совсем, переносясь и пережидая в укрытии, подглядывая, как обреченные двойники бешено скребут когтями по небесному стеклу, — и дальше, дальше, подпрыгивая от пинков, пряча голову, — жмите на педали, жмите, не оглядываясь, — мы вернемся завтра, и, ах, как мы попляшем!..

Они уходят, обгоняя последние пули. Они вырвались даже из рук ветра, но ряд все еще не сходится. Наступает время, сочащееся кровью из пробитых баков, трясущееся по булыжному теперь небу на изорванных лопастях, время, обняв руками парашютную беременность, постанывать от схваток страха, вылавливать жадными глазами огоньки полосы, дотягиваясь до крайнего, — цепляя ногтем, срываясь и снова карабкаясь, теряя последние капли, шепча и ругаясь, — время чего угодно, только не молитв. Даже если это последние минуты, и мы уже не дотянем (я слышу, как отлетает от лопастей обшивка, я вижу красные табло тревоги), — все равно не хочу целовать сапоги того, кто сам окунает и сам (если попросишь, отчаянно пузыряться) вынимает, добро улыбаясь в бороду. Белое, простынно-кафельное, искусственные цветы пахнут хлорамином, — этот главврач все равно не властен над снами больных. Прошу тебя, мой ночной близнец, передай своему повелителю: сейчас я жду его поддержки...

И что же нужно тебе, такому потному, с холодными конечностями? Чего жаждет твоя пересохшая, скукоженная душа? Облизнуть эту землю, обдирая о горы язык, утоляясь собственной кровью? Нет, моя испуганная кровь не поможет мне, — чужого хочу,

неизвестного, но нет времени перебирать и отбрасывать. Так пусть она подойдет, — последняя вокзальная жрица, — и в мазутных кустах, в мелькании и грохоте проносящихся поездов, эта общественная плевательница (даже здесь воображение привередничает, требуя молоденькую мулатку со стертыми в кровь лопатками), приготовившись оказать мне самую дешевую из услуг, так и останется стоять с открытым ртом; круглая готовность сменится удивлением, переходящим в стон, потому что бледный незнакомец сам опустится на колени и, войдя под узкий полог, сделает это за нее, — жадно и больно, языком и зубами испуганного животного, жаждущего вкуса жизни и нашедшего этот вкус. Я сделаю это, и пусть отвернутся проплывающие мимо купейные мадонны, чтобы не потерять молоко! Я сделаю это, я вылижу последний уголок жизни, куда она вся и забилась, глядя, как умные и тупые пигмеи-пигмалионы танцуют с ее двойником, фригидной самозванкой, — я покажу забытой, что не забыл... Да кто там топчется, черт возьми, кто этот слюнявчик, бубнящий чушь в ее желтые, спутанные пряди, когда она качается в моих руках? «Какие танцы, Заратустра, — бормочет она. — Уходи, не мешай нам...» Уходи, танцор, и вы тоже уходите, — вы, жрущие горстями снотворное и пускающие в теплые ванны свою рыбью кровь, — как вы вообще смеете корчить гримасы, даже если жизнь испражнилась вам в морду? Радуйтесь! — она пометила вас как свою территорию, она будет защищать вас! И все остальные, — от рыбака до фискала, — пошли вон! Ей не хватает воздуха, а мне доверия к вашим шаловливым ручонкам: вы обязательно растащите мое тонкое листовое время, эмали чувств, тиски обстоятельств, молоточек сердца, начеканите целую кипу ереси — пьяный блудный сын променял папу на грешницу, — и все

это останется невостробованным, как желтые перстни рыночного армянина... Все вон! В моем маленьком мерцающем кадре места лишь на двоих, и мне не нужны апостолы, а тем более зрители. Сейчас, пока я не протрезвел, мне хватит слез, чтобы омыть ее грязные ноги, и жара губ, чтобы осушить их, — а потом я положу к этим ногам все заработанные войной деньги, все усыпанные бриллиантами ордена, и, попросив — нет, не отпущения грехов, — а всего лишь разрешения остаться до утра, улягусь у ее ног. А ты, моя мулатка, сядь рядом, спой что-нибудь нежное на своем родном, неизвестном мне языке, напои меня с ладоней своим прохладным голосом, — и, успокоенный, я усну. Я так устал от своей дикой любви...

...Светлеет. Шорохи, скрип, задушенные голоса, — все потихоньку уходят, унося... Смех, как эпилог ночного страха: такие серьезные люди, а каким кубарем катились! Отстань, женщина, чего ты лепечешь? Разве ты не видишь, — мы долетели; разве ты не чувствуешь, — он уже расцвел, мой цветок. Немигающая рептилия, магическая пентаграмма, сложенная из лоскутов змеиной кожи, — другу на память от повелителя мух. Все аристократы флоры — от розы до крапивы, — все боятся и презирают его. Он тошнотворно красив — камуфляжная звезда, пахнущая тухлой кровью, — и чем дольше я знаю его, тем острее желание склониться к нему и вдохнуть. Мясные мухи, грифы, красноглазые гиены, вам нечем здесь поживиться, здесь человеческое (даже слишком человеческое), — расступитесь и дайте человеку приблизиться. Мне нужен этот запах, такой противный для многих, — я узнаю и обожаю его, — запах возвращения. Так пахнет встающее над горами солнце...

ЭКЗЕРСИС

Возле жаркого Геришка, в маленьком кишлаке я увидел эту девочку. Пока жители кишлака осаждали вертолеты, выпрашивая керосин, она стояла поодаль и смотрела. А я смотрел на нее. Потом в районе кишлака развернулась операция. Этот рассказ — еще одно умолчание «Избранного».

Осенняя ночь темна, костер догорает, насытившись. Я накормил его. Я выбрал и сжег все запретное, все самое вкусное. Даже лицо, даже имя, не говоря уже о солнце, дрожащем в ее озерце, о змие вползающем и о змейке заглатывающей... Просматривая то малое, что осталось, вновь убеждаюсь: корява рука человеческая. Владеющий высшей иероглификой (несколько стремительных мазков, крупная купюра достоинством в тысячу слов: заверните, пожалуйста, весь пейзаж), — я мог бы, конечно... Я мог бы — но некому расшифровывать, а я еще не имею права, — и по-прежнему вынужден рыться неутомимой курицей в поисках нужных... Впрочем, окатывая стекла в сердолик, за неимением моря можно пользоваться и куриным желудком, тем более — все останется здесь погребенным. Сухой песок и солнце способствуют мумифицированию, и пергамент, упакованный в глиняный сосуд с рога-тым экслибрисом на пробке, будет ждать столько тысячелетий, сколько понадобится. Придет время, и тот, кому это действительно нужно, извлечет его — мое герметическое пособие по сохранению орехов свежими.

Я не крал ее. У меня нет даже осла, не то что лошади, — а другими, свойственными мне способами перемещения я бы испугал ее, как испугал, появившись впервые (хорошо еще, что ее тотемное созна-

ние было почти подготовлено). Я не крал ее и даже не купил, потряхивая бусами. Появившись, я лишь слегка наклонил ее интерес в свою сторону, и капля, давно готовая сорваться, скатилась в подставленную ладонь... Теперь конец написан, уже ничего нельзя изменить, — принесут все, что заказано. Утром принесут камни, чтобы побить ими вора. Они смешны и привычно неблагодарны, эти люди, поклоняющиеся моему брату. В его отсутствие (он завоевывал все новые берега) я научил их многому, о чем они, убивающие время в трудах и молитвах, и не подозревали. Но стоило мне взять у них такую малость, и, науськанные своим покровителем, они пустились в погоню, запасшись камнями (вдруг вора настигнут в песках или в океане — и нечем будет побить...). Иногда, нехотя отрываясь от своей игры, я поднимался на вершины и следил за их продвижением, — а когда они начинали блудить — я подправлял их. Мне нужна эта погоня, — я давно не чувствовал себя вором. Я вообще давно не чувствовал... Память моя остывает — я уже не помню всех имен, данных мне людьми, не помню всех своих аватар, не помню даже, что корябал в смарагдовых таблицах (надеюсь, та чушь была достойна тех веков). Ветер ночных полетов не освежает, вино из дуба давно перестало пьянить меня. Замерзающая звезда, когда-то так ярко сиявшая, — кора ее утолщается, и, чтобы достать до еще горячей сердцевины сквозь трещину, нужно именно такое — тонкое, упругое, нежное... Краденое...

Я сразу узнал ее, — так обученные мною буддийские монахи узнают в нищем мальчике новое воплощение Верховного ламы. То, как она подавала вяленую морскую змею, — наклонившись и позволяя своей маленькой любопытной груди рассмотреть

гостя поближе; реинкарнация все тех же смуглых коленок и этот быстрый взгляд из-под челки, — я узнал все сразу. Прости, унылый брат, но что поделывать, если мой усыхающий от разума грецкий мозг только здесь нашел эту живительную каплю. Я знаю — ты держал ее под своим присмотром, ты хотел превратить ее (такую непоседу!) в послушную хранительницу бледного огня в храме твоего имени, — а заупрямясь она, обреченная тобою на вечную девственность, — ее бы принесли тебе в жертву. Я давно опустошаю твои загоны, я люблю наказывать тебя, мой укротительный брат. Помнишь хотя бы ту дикую молодую кобылицу — подарок раскаянных тобою скотоводов, — которую ты хотел заставить ходить под седлом? Этот влажно-грозовой глаз (бог домашних животных отражался в нем таким маленьким, с кнутом и куском хлеба в руках), этот впалый живот, эта мальчишеская мускулатура и свободный галоп вдоль прибоя, — конечно, кентавр, живущий неподалеку, не смог утерпеть... Согласен, это нечестно — тебе не дано менять облик, ты можешь только вочеловечивать, но я захотел так, и мне не нравилось, что ты заставляешь ее... Ах, как ты бесновался, глядя на наше гнедое танго, слыша ее вскрики, ее внезапно изменившийся запах, — а когда мы неслись мимо в закатных брызгах, ты убил ее отравленной стрелой. Конечно, ты метил в меня, контрабандиста и конокрада, — но летящей стрелой так легко управлять... И меня нельзя обвинить в равнодушии — той ночью, натягивая волосы из ее чудного хвоста на смычок своей скрипки, я грустил.

До рассвета у меня еще есть время. Они ринутся, когда взойдет солнце, а сейчас спят у входа в ущелье. Я знаю это потому, что она — из их племени, и за лунный цикл, что я отвел нам, она так и не нау-

чилась наблюдать ночь. Птенец, цепенеющий в крылатой тени коршуна, или цветок, уходящий в себя на закате, она засыпала там, где ее настигала темнота. Колени подтянуты к груди, лицо спрятано, — осторожно поднимаю (во сне обхватывает за шею), легко прижимаю, отношу; укладываю и укрываю. Иногда она кричит во сне от страха, и я знаю, что ей снится. Долгий подъем, кессонный шум в ушах, круги, — я забыл, в каком я обличье, я плыл, отдыхая в теплых водах и даже не зная, какое из времен маячит на горизонте белой полоской песка. Я появился перед ней из океана, и, вскрикнув, она присела, пряча лицо в коленки (о, что я вижу!). Прости, что испугал тебя, — я просто не успел переодеться, я был в других, очень глубоких временах, где шумели шумеры, воздавая хвалы великому Оаннесу. Позволь же броненосной рыбе подползти, по пути эволюционируя; не дрожи (но дрожь твоя прекрасна, ее воспела несуществующая танка: лишь овод коснется ее — спина жеребенка в испуге трепещет) — не дрожи, открой глаза — я уже человек, тебе привиделось, ты наполнена бреднями вашего шамана, взгляни же на меня — разве я похож на вышедшего из бездны зверя, — я, восхищенный и боящийся твоего страха? Разве кто-нибудь прикасался к тебе так — не прикасаясь?

Обнюхивая тебя, зажмуренную, я уже знаю, что изменю свой вечный маршрут, и уже выбрал место, куда отведу этот тоненький ручеек. Я уйду, оставив похитревшее племя, уйду, наигрывая на невидимой свирели и прислушиваясь к легким шагам за спиной, — они то замирают в сомнении, — и я играю еще заманчивей, то снова догоняют, не решаясь... И когда я подменил знакомый ей пейзаж, она даже не заметила этого поначалу, а потом, осмотревшись



СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРТОЛЕТЧИК	5
БОРТЖУРНАЛ № 57-22-10	65
НИЧЬЯ	289